

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
3-56

Е. Л. Зенгим
НАЧЕРНО

Любое использование материалов данной книги, полностью
или частично, без разрешения правообладателя запрещается

Иллюстрация на переплете *Екатерины Кравченко*
Иллюстрация на форзаце *Эльвиры Поздняковой*

Дизайн переплета *Александра Шпакова*

Зенгим, Е. Л.
3-56 Начерно / Е. Л. Зенгим. — Москва : Издатель-
ство АСТ, 2026. — 704 с. — (Nova Fiction. Русское
городское фэнтези).

ISBN 978-5-17-182725-0

В мрачных трущобах гигантского города Бехровия начина-
ется история Бруга — человека, продавшего душу ради мести.
Шесть лет назад он впустил в себя тьму иного мира, и теперь его
единственная цель — расплата с предательницей. Но холодный
город, где бюрократы защищают свои поместья с помощью жут-
ких механизмов и невиданных тварей, не спешит раскрывать свои
тайны. Здесь каждый шаг может стать последним, а смерть — не
худший исход. В этом темном мире, где мораль размыта, а интриги
плетутся на каждом углу, Бругу предстоит узнать, что цена мести
может оказаться выше, чем он предполагал.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Зенгим Е. Л., 2026
ISBN 978-5-17-182725-0 © ООО «Издательство АСТ», оформление, 2026

Глава 1.

Маслорельс

Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

Торгаш сказал мне: мол, все дороги ведут в Бехровию. А жрец в храме — что все пути сходятся в преисподней. Тогда-то в головушке сложилось: это не совпадение; Бехровия есть ад на земле!.. И в тот же день я начала убивать.

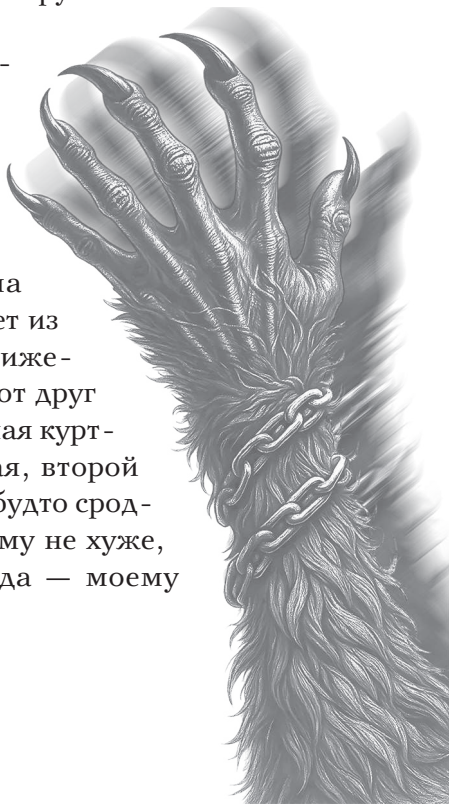
Хильда Хлеборезка, осужденная на казнь. Последние слова

Банально прозвучит, но любовь нужна всякому, и всякий ее жаждет. Пусть придется врать и идти по головам, она стоит того. Даже впустить беса в свою черную душу — и то будет малой платой за капелюшку любви.

Бес уже дремлет внутри, но Бруг пойдет дальше. Особенно Бруг.

Он не станет скрести по сусям, обхаживая случайных девиц. Он вернет старую любовь — ту, что причиталась ему по праву силы. И наконец-то отомстит.

Потому я здесь. Сажу на скамье, пока меня покачивает из стороны в сторону в такт движению вагона. На груди звякают друг о друга звенья Цепи, а любимая куртка, вороная и чуть хрустящая, второй кожей обнимает плечи. Она будто сроднилась с телом и подходит ему не хуже, чем смолисто-черная борода — моему лицу.



Говорят, то лицо преступника... но всё куда страшнее.

То лицо Бруга.

— И как, говоришь, эта штука называется? — Я прищуриваюсь по-кошачьи, разглядывая плафон, что дрыгается под потолком туда-сюда. — Масло... рельс?

Этот вагон чуточку отличается от остальных. Здесь нет узких полок для сна, а по коридору не кочуют масел-проводники со скрипучими тележками, нагруженными съестным до отвала. Здесь даже не глушат лампы по ночам. Хотя время и позднее, блики плафона и теперь скачут по лакированным столам и скамейкам, а иногда шаловливо перебегают в сторону и спят масел-кельнера. Тот чертыхается, секунду свирепо глядит на плафон — и снова трет чашки из-под гешира и кавы, лениво-лениво.

— А? Ну да, ну да, маслорельс, — сбивчиво бубнит сосед по столику, отвлекшись от очередной пинты «Светлого республиканского», вроде четвертой или пятой. — Говорят, чудо масел-техники, ходит только обратно и туда... ну, куда мы едем, собсна.

Это средних лет мужчинка, одетый прилично: узкие клетчатые брюки с замаявшимися стрелками, не первой свежести рубашка, перехваченная подтяжками крест-накрест. И растянутый платок на красной, блестящей от пота шее.

— А построил его кто? — Сосед шумно втягивает пену ртом, уставившись на меня поверх кружки. И, почмокав влажными мясистыми губами, сам же отвечает: — Гремлины, етить их. Чудо техники, чудо техники... Тьфу, вонючие недолуды! Уж если б не фирма папаши, ноги моей не было бы в этой,

етить, Бехровии... Слышь, Бе-хрен-ровии! Хрен, понял? А-ха-ха!

Он громко хохочет и для весомости хлопает ладонью по столу. Он ожидает бурной реакции и от меня, но я лишь расплываюсь в хитрой ухмылке.

— Не любишь гремлинов, да? — подначиваю его, выплескивая в стакан еще каплю бурбона «Хро-ки-Доки». Граненое стекло вмиг потеет, как и холодная, из ведра со льдом, бутылка. — И почему же?

— А чего их любить, этих земляных червяков? У нас в фирме никогда недолюдов не работало! Ни свинушей, ни гремлинов. Про упырей вонючих вообще молчу! Я, Вильхельм Кибельпотт, презираю всех, етить, до одного! Хвала Двуетидному, что тут их сажают в отдельный вагон.

— Ха! Вилли, Вилли... Вот ты сидишь со мной за одним столом, платишь за мой бурбон. Мы с тобой болтаем, весело проводим время. — Кожаная куртка трещит, когда я наклоняюсь к нему. — Да, Вилли, весело же, черт подери?

Вильхельм, помедлив, утвердительно кивает и еще ослабляет платок на шее.

— Отлично, отлично, Вилли, — треплю я его по плечу. — Не забывай: меня зовут Бруг, и я твой друг. Но что, если... Что, если Бруг — тоже недолюд?

На отеком лице Вилли — мимолетное замешательство, внутри меня — тайное удовлетворение. Недоверчивый, исподлобья взгляд Кибельпотта раздувает в груди огонек превосходства: есть в его тупом непонимании что-то от жертвы. Мои губы непроизвольно растягиваются, обнажая крупные зубы.

— Да не заморачивайся, дружище. Я же пошутил!

— Ты, етить, так больше не шути, друг! — По красному виску спадает капля пота. — Я ж это, презираю всех этих упырей.

— Не ты один. Не ты один, Вилли! — Одним глотком осушаю стакан бурбона, чуть морщусь от горечи: никогда он не был мне по вкусу, уж слишком отдает бочкой, будто жуешь проспиртованную кору... Но я не отказываюсь от бурбона, ведь по себе знаю, как легко обидеть собутыльника. А обижать Вилли — последнее, что мне нужно, по крайней мере пока.

— А пойдем прикончим по папироске, а? — предлагаю я. — В этот раз угощает старина Бруг!

Вильхельм облегченно хохочет, подскакивает с места, спешно собирается. Нетвердыми пальцами пробует развязать узел шейного платка, но только сильнее его затягивает. В конце концов он раздраженно машет пятерней, допив остатки «Светлого республиканского», и направляется к выходу из вагона-ресторана. А я сую за пазуху недопитый «Хроки-Доки»: бурда, конечно, но кто знает, когда еще мне подвернется питейная?

Свободный нужник находится в конце другого вагона. Это каморка с низким потолком, тесная настолько, что мы с Вилли едва помещаемся. Все му виной умывальник, выпирающий слева, и дыра в полу у дальней стены. Ее металлический обод заляпан человеческой неловкостью, а изнутри оглушительно грохочут колеса маслорельса. Над нужником качается веревка, рядом с ней табличка: «Дернуть для смыва». Вполне себе миленько, если забыть, что от дыры нещадно несет нечистотами и кислым, ни на что не похожим запахом масла.

Зато глянешь внутрь — и увидишь проносящиеся мимо булыжники, устилающие дорогу меж рельсами. Я подталкиваю Вилли к нужнику: двигай, мол, а сам задвигаю щеколду на двери.

Так, и где папиросы? В кармане только угловатая бутылка бурбона... Как же она меня раздражает! Пусть побудет пока в умывальнике.

— Да где...

А вот и картонная пачка, в том же кармане, мятая и расплюснутая. Когда я расправляю ее, на пол сыплется курительный дымлист: несколько папирос не пережили соседства с «Хроки-Доки».

— Эти две, кажется, еще ничего. — Я довольно щурюсь, зажав одну длинную серую папиросу зубами, а другую протягивая Вилли. — Выменял у какой-то шалавы под Стоцком... Да не бойся, Вилли, она была не чумная! — почти кричу, чтобы перекрыть лязг колес под полом. — Видишь красную полосу на бумаге? Полоска, говорю, да. Такая есть только на стоцких папиросах. А пахнут они... — захожусь кашлем, — дерьмом. Черт, да как же тут несет!

Кибельпотт долго трет нос, прежде чем ответить. Голос его меняется, становится гнусавым. Видно, что он старается больше дышать ртом, и теперь говорит с паузами:

— Это еще чего, не сильно-то и воняет... — Вдох. — Вот мы с братьями моими, Билли и Гелли, как-то бывали во Мражецкой кумунне... — Еще вдох. — Это на границе с Рысарством, где дамба проходит. Там, етить, во-о-от такенный квартал у свинушей, прям-таки свинарник!

Вилли глуповато гогочет, но тут же кривится, глотнув воздуха с избытком.

— Кхе, так вот... Ночью мы с братьями, ну, с Гелли и Билли, прокрались на двор одной свинушки...

И знаешь чего? Ха, мы сперли у нее свинушонка! Они все спят в бараке, по десять штук, в брезентовых штанах, чтоб грязью да говешками не засрались... — Он брезгливо сплевывает в отхожую дыру. — Так мы схватили его — и бежать. А он визжит, дрянь, как молочный поросенок! Да и выглядит, и воняет, как простой поросенок, только в штанах, етить.

Вилли передержал папиросу во рту и теперь сдавленно кашляет. Я не перебиваю его, только выпускаю облачко дыма сквозь недобрую усмешку. Грудь приятно холодит там, где Цепь скользит под воротом куртки.

— И на костре он тоже визжал, как поросенок! Не хотел жариться, дык мы ему перебили ноги камнем. И даже пахло от него шкварками, прикидываешь, Бруг? — Вильхельм Кибельпотт уже не в силах остановиться, в его глазах вспыхивает огонек. Я вдруг ясно вижу в нем дряблого пацана, мучающего слепых котят. Мальчишку, которого смешивают с грязью даже старшие братья. Который сам потом топит в грязи питающего звереныша.

А Цепь продолжает ползти, ползет сама по себе, огибая под мышкой плечо, спускаясь в туннель рукава.

Наверное, поначалу Вилли топил котят из чистого любопытства: мол, а что станет с блохастиком, если его вот так? А дольше он может? Ой, как смешно он фыркает, отплевываясь от воды! Но только всё не тонет, не тонет. И чего это он не тонет?!

— Гелли попробовал его на вкус, но тут же стошнился, етить... Так мы запихнули поросю яблоко в рот и бросили во дворе у той же свинушки. Ну, через забор киданули, как стемнело...

Я почему-то вспоминаю отца. Нет, он не из тех, на ком срывались в детстве. Он сам на всех срывался, с младенчества, как хвастал дед, и до сих дней... Последние годы дед уже не хвастал — отец зарубил его в поединке, чтоб занять место барона. Зато все остальные и ныне ползали перед ним, как побитые собаки.

А я ползал усерднее всех, ведь и прилетало мне в разы сильнее. Нагайкой. По спине, ребрам и плечам, пуская кровь и сдирая лоскуты кожи. Отец останавливался только в двух случаях. Во-первых, когда уставало запястье, а уж оно у него было натренировано. Да и устань правая — всегда можно поработать левой. А во-вторых... Иной раз он откладывал нагайку от скуки: в чем интерес хлестать кого-то в отключке? Мальчишку, что не стонет, не скулит, не царапает лоб об половицы?

Уж и не знаю, сколько раз я превращался в половую тряпку. Неживую, скучную. Пропитанную потом и мочой, кровью и отцовским презрением.

— Если б ты только знал, как была мамка-свинюшка! Вой стоял, етить, на весь свинушник!

Я перехватываю папиросу левой рукой — почти как отец нагайку — и затягиваюсь до отказа. Она обжигает пальцы, позади языка стоит горечь, от дыма в горле уже не продохнуть, но я не чувствую облегчения. Курево не отдает в мозг, не слабит колени, как бывает обычно. А вот колотит меня так, будто выгнали голым на мороз — отец однажды выгнал, и мне не понравилось. Мои губы сжаты, легкие горят, моля о капле свежего воздуха...

Цепь змеей вьется ниже локтя, и первое звено уже гладит ладонь. И я наконец выдыхаю:

— Обними.

Цепь делает рывок. В глазах меркнет, и сквозь белесую пелену гнева я различаю, как металл стягивает красную шею Вилли Кибельпотта. Мои руки помогают Цепи закончить. Хрипы кажутся мне не громче голоса собственной совести, а она очень молчалива. Шепчет что-то неразборчивое, еле-еле, даже когда тот, кто оплачивал мне выпивку, падает на колени. Он царапает ногтями Цепь, но металлу плевать, металл — не шейный платок.

Во мне нет удивления или сострадания — я, кажется, давно не ощущал ни того ни другого. Зато я чувствую гнев и боль и знаком с ними прекрасно. А еще — с жаждой любви. Раз меня не полюбят по-хорошему, я возьму свое насильно. И если для этого нужно «обнять» пару человек... Разве кто-нибудь заслуживает любви больше меня? Разве мне хватало объятий? Так думаю я, Бруг, упираясь коленом в спину своего попутчика, пока шея его не издает хруст.

И хруст этот звучит... окончательно.

Однажды я услышал от старого безногого контрабандиста занимательную вещь: если смог пролезть куда-то таз, пролезут и плечи. Дальше, мол, дело техники. Сегодня я узнал вторую половину этой житейской мудрости. Оказывается, если пинать кого-то достаточно долго, в дыру kloзета пролезет даже такой жирдяй, как Вилли Кибельпотт. Хотя вначале его таз упорно не помещался в отверстии, я оказал ему последнюю услугу. Ведь Бруг — твой друг, помнишь, сучий потрох?

Тот безногий не поделился, как стал калекой, рассказали его дружки: старик застрял в лазе лишь единожды, зато наверняка. Хороший контрабан-

дист — тот, которого сложно найти, а он был профессионалом! И когда его тайный ход наконец отыскали, крабы уже обглодали бедолагу до колен.

Вилли тоже совершает свою последнюю высадку — падение вниз. Сочный шмяк о камни перевала. Хрупанье костей, перемолотых бездушными деталями вагона. Всего мгновение — и последние звуки Кибельпоттова тела тонут в грохоте масел-колес.

«Дерни для смыва!» — напоминает мне табличка. И я послушно смываю за попутчиком, что вышел по ходу движения.

Но Вилли высадился не в полном порядке: помимо пары шейных позвонков и содержимого карманов, я лишил его указательного пальца с безвкусным колечком из фальшивого золота. Такой пухлый палец было трудно откусить, но я справился, и теперь этот трофей отдыхает в пачке из-под стоцких папирос.

Осталось только рот прополоскать. Бурбон подойдет, ведь вкус Кибельпотта соответствует его душонке.

— Документы, пожалуйста.

Шинель констебля такая же серая, как и его небритое лицо. Глаз не видно под шлемом с кокардой в виде пустой птичьей клетки. У легавых здесь, как погляжу, это любимый символ, он везде: и на касках, и на воротниках, и на рукавах, только материал разный. У хмурого, например, клетка из желтой латуни.

— Проходите. Добро пожаловать в Бехровию.

Но в голосе ни намек на гостеприимство. Выпуская очередного пассажира из вагона, констебль задает шаблонные вопросы и проверяет документы на

въезд. Наклоняет по-разному и изламывает страницы, чтобы по буквам прошел блик, потом дотошно трет печати и ищет ошибки в заполнении полей.

Вот у какой-то женщины нашлась опечатка в титуле. Тотчас два других констебля, с клетками поменьше и уже из стали, оттаскивают хнычущую «гвафиню» под руки, гулко стуча сапогами. И я очень сомневаюсь, что они просто выпьют по чашке гешира и посадят дамочку на обратный маслорельс...

Но я другое дело, так? Всё будет в порядке, Бруг. А пока просто возьми себя за то самое и надень эти дурацкие перчатки без пальцев. Успокойся. Не торопись.

— Документы, пожалуйста.

О, вот и моя очередь.

— Держи, дружище. — Послушно протягиваю документы в красной обложке с выдавленным на коже гербом Республики — косым крестом в форме буквы Х.

Констебль неприязненно выпячивает подбородок. Под шлемом не разглядишь, но я-то знаю: он сверлит взглядом скандальный республиканский крест.

— Вильхельм Хорцетц Кибельпотт, — цедит сквозь зубы «латунный», пробегая по строкам. — Цель визита?

— По работе, кум, — пародирую республиканскую манеру говорить. — Надо уладить пару делишек, етить, в фирме моего папаши.

Констебль проверяет порядок печатей, особые защитные чернила, и делает это много дольше, чем прежде. Мне даже кажется, что еще немного — и он нарочно отколупает какую-нибудь букву, а свалит всё на фальшивый документ. И хотя я не сомневаюсь, что мой пропуск — вернее, пропуск Вилли —

подлинный до последней странички, беспокойство не покидает.

Но вот констебль закрывает документы, однако возвращать не спешит.

— Последняя формальность, господин Кибель-потт. — Он достает из кармана маленькую неброскую шкатулку. — Предъявите отпечаток.

Вилли говорил об этом, и Бруг подготовился. Но под сердцем всё равно тянет от тревоги.

— Чего отпечаток? — Я сглатываю, в то время как Цепь подрагивает вокруг моих ребер. Она очень чувствительна к психической энергии, а эта шкатулка, похоже, прямо кишит ею.

— Отпечаток пальца, господин Кибельпотт. Вас уже считывали в посольстве, когда выдавали этот пропуск. — Он трясет красной корочкой возле уха.

Ухмыляется, скот. А я-то думал, его хмурую мину ничем не проймешь. Хочется плюнуть ему на латунную клетку. О да, это будет жутко приятно... но и рискованно. Может, в другой раз.

— А, это... — Натягиваю улыбку. — Ну давай, верти уже свою шарманку.

Констебль подкручивает заводное устройство на дне шкатулки, и та раскрывается с подозрительным тархтением. Внутри тканая подушечка, пропитанная синей краской, и крошечное зеркальце. Малюсенькое, со спичечный коробок, и такое... мутное, что ли. Как озерная гладь у берега, где ил взбаламутили чьи-то шаги. Это зеркальце отлито из менталя — металла, что реагирует на нелюдей.

— Не задерживайте очередь, господин Кибельпотт. Опустите палец на штемпельный валик, потом — на психодиск.

Честно, я в душе не чаю, что такое штемпель, но суть понял, не дурак. Облизываю губы и разминаю

руку, ту, которой сейчас потянусь к валику-подушечке.

— Не смажьте чернила, — отзывается констебль. — Если отпечаток не будет похож на тот, что в документах, то...

Сам знаю *что*. А вот тебе лучше не знать.

Подушечка должна быть прохладной на ощупь, но я ее не чувствую. А вот палец, напротив, руку холодит — быстро остывает, зараза. Ну, и что там? Кажется, окрасился. Хотя как тут быть уверенным, раз не ощущаешь прикосновения? Было бы странно, ощущай я им хоть что-то, палец-то мертвый, ничуть не живее самого Кибельпотта, которому принадлежал. Стараюсь двигаться естественно, как если бы не удерживал обрубок внутри исцарапанной перчатки.

Кусочек настоящего Вилли оставляет на зеркальце темно-синий след. Для меня это просто овальное пятно, но для подошедшего «стального» констебля всё иначе. Под правой бровью у него странная конструкция из кучи линз и рычажков, и он, зажмурившись невооруженным глазом, суетливо склоняется над шкатулкой. Дергает рычажки — и линзы тасуются, как игральные карты. Наверное, в порядке их движения есть смысл, но для меня это сродни колдовству. «Стальной» упорно крутится над запачканным зеркальцем, а потом, вздохнув, — над страницей в документе, где тоже есть отпечаток. Его при жизни делал сам Вилли.

— Совпадают, господин главный инспектор.

Я расплываюсь в довольной улыбке. А ты чего ожидал, господин главный хмурый черт?

— Уверен? Проверь еще на психику, а вы, — понижает голос «латунный», обращаясь ко мне, — еще раз положите палец на психодиск!

— Это мне снова пачкаться, кум? — Я скре-
щуваю руки на груди, суя их под полы куртки. —
Сколько можно?

В очереди уже недовольно бухтят. Слышу за спи-
ной цоканье языком, нервное топтание... Кто-то,
набравшись смелости, даже повторяет мой вопрос,
но уже более возмущенно:

— Да сколько можно, господаре?!

Умничка. Эти люди нравятся мне не больше про-
чих...

— Нет, сразу на психодиск. Побыстрее!

...Но их шумная толкотня бывает полезна. На-
пример, можно успеть спрятать какую-нибудь ме-
лочь. Скажем, обрубок пальца.

Зеркальце на ощупь что лед: кажется, передер-
жишь палец самую малость, и он прилипнет, как
язык к дверной ручке в лютый мороз. Говорят, мен-
таль раскаляется, тронь его упырь или одержимый,
и тут уж даже самый крепкий поморщится. Но даже
если не подаст виду... всё равно напрасно: легаши,
может, не самые умные товарищи, однако запах па-
ленной кожи ни с чем не спутаешь.

Я, к счастью, не упырь. Да и бес надо мной не
властен... вроде... Однако и человеком меня на-
звать с уверенностью нельзя. И как узнать заранее,
расплавит тебе кожу или нет, когда даже спросить
не у кого? Сложно предсказывать будущее, когда
и решить не можешь окончательно, исключение ты
или ошибка.

Я держусь невозмутимо, разве что щека преда-
тельно подрагивает. Чешу ее без желания, но с та-
ким мстительным рвением, словно это она во всем
виновата. Она, а не мои расшатанные нервы.

— Ну что, кум, — щека горит в том месте, где но-
готь был особенно груб, — теперь - то я могу идти?

«Латунный» констебль не отвечает, лишь досадливо захлопывает и сует в карман шкатулку.

Впереди морено-деревянный проем, ярко-плафонный и теплый, за ним — бесцветная улица, где пропадают за ограждением редкие пассажиры. Пропадали, пока я не устроил затор... Прибехровье пахнет влажными сумерками с примесью угольной пыли и кислятины масла. Казалось бы, вот оно, дерзай! Однако какое-то трусливое сомнение держит меня за пятки, не давая сойти с места, будто окоченевшие руки Вилли Кибельпотта проросли сквозь пол, желая вернуть откушенный от них кусочек. У меня нет выбора: маслорельс обратно не пойдет, только дальше и дальше к центральному вокзалу, людному и яркому. Но я должен побыть в тишине, собрать половинки себя воедино.

В грудь тыкается документ на въезд, красный, с косым крестом. Это подстегивает, и я срываюсь с места, пропадая в незнакомом городе. Вдогонку мне летят слова констебля, но мысли мои слишком заиклены, чтобы уловить еще и чужие. Последнее, что я помню, — низко надвинутый шлем с желтой кокардой и шевелящиеся губы.

